

18+

Людмила Карвецкая

Три лика любви



Людмила Карвечкая

Три лика любви

«Издательские решения»

Карвецкая Л.

Три лика любви / Л. Карвецкая — «Издательские решения»,

Три недели комы. Три года в другом мире. Три лика любви. Ника Каменская была на вершине. А потом рухнула в пропасть — физически и духовно. Она оказалась в мире, где встретила двух сущностей: холодный свет, который сделал её сильной, и тёплую тьму, которая приняла её сломленной. Это роман о выгорании, о праве быть сложной, о том, что исцеление — не возвращение к «норме», а умение нести свои шрамы с достоинством. Для тех, кто когда-нибудь чувствовал себя разбитым — и всё равно продолжал идти.

© Карвецкая Л.

© Издательские решения

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	14
Глава 3	18
Глава 4	23
Глава 5	30
Глава 7	37
Глава 8	41
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Три лика любви

Людмила Карвецкая

© Людмила Карвецкая, 2026

ISBN 978-5-0070-1799-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1

Дубай никогда не спит. Но к вечеру он замирает в другой позе. Дневная суета — стук каблуков по мрамору, гул кондиционеров, шипение кофемашин в лобби — сменяется низким, басовитым гудением. Город выдыхает жар, накопленный за день. В этом мареве небоскрёбы перестают быть зданиями. Они становятся кристаллами, выросшими из раскалённой пустыни вопреки всем законам природы и логики.

Внизу, у подножия одной из таких игл, прислонившись к капоту старого, но ухоженного внедорожника, стоял Лукас. Он не смотрел вверх — туда, где за тонированным стеклом скрывался пентхаус Ники. Он смотрел на свои руки, лежащие на руле. Пальцы чуть подрагивали от странного, иррационального предчувствия. Будто воздух вокруг машины сгустился и стал вязким, как смола.

Лукас был архитектором. Он привык мыслить формами, объёмами, материалами. Дубай для него был идеальным макетом — городом, где можно воплотить любую фантазию, если у тебя достаточно денег и амбиций. Но Ника была тем, кто продавал не квадратные метры, а право на эту фантазию. Она была проводником в мир, где все печали можно было оставить за порогом с видом на море.

Он поднял голову. В панорамном окне на предпоследнем этаже мелькнул силуэт. Всего на секунду. Но этого хватило, чтобы по спине пробежал холодок. Там, наверху, стояла женщина, которая казалась ему сделанной из того же материала, что и эти небоскрёбы: безупречная, холодная, абсолютно неприступная.

— —

Внутри пентхауса тишина была почти осязаемой. Она имела вес и плотность, оседая на полированной поверхности чёрного дерева мелкой пылью забвения. Ника стояла у окна, и последний свет уходящего дня обтекал её фигуру, как вода обтекает камень, оставляя на поверхности лишь то, что не может скрыть никакая тень.

Ника была невысокой — ниже среднего роста, но в этой компактности не было ничего от мягкости. Тело, выточенное годами спорта и выжженное бессонными ночами, хранило под бледной кожей ту сухую, жилистую силу, которая свойственна скорее танцовщицам или гимнасткам, чем женщинам, чья жизнь проходит в стеклянных башнях и переговорах. Мускулы, давно забывшие мягкость, проступали при каждом движении, но сейчас она не двигалась — застыла, вросшая в пол, будто сама была частью этого интерьера, такой же отточенной, такой же пустой, такой же дорогой.

Профиль её был острым, почти болезненным. Высокие скулы, тонкий нос, губы, сжатые в линию, которую трудно было назвать нежной, — всё в ней говорило о том, что красота эта выстрадана, вырезана из камня, а не подарена природой. И только глаза нарушали эту геометрию совершенства. Один — серо-зелёный, с оттенком балтийской воды в пасмурный день. Другой — такой же, но с золотистым пятнышком у зрачка, похожим на крошечный осколок янтаря, застывший в толще льда. Эта асимметрия делала её лицо странным, чужим и резким. Временами ей казалось, что золотое пятно пульсирует в такт сердцу — особенно в те минуты, когда внутри что-то закипало, а внешность оставалась ледяной.

Волосы, светлые до белизны, были собраны в низкий, туго затянутый узел на затылке. Ни одного выбившегося локона — только гладкая, холодная поверхность, отливающая на закате золотистым. Она носила их так всегда — с той же неукоснительной строгостью, с какой держала спину прямой, а слова — краткими. Даже дома, даже одна, даже когда никто не видел. Потому что если ослабить хватку хоть на минуту, всё, что она держала в узде, могло рассыпаться.

Пентхаус, в котором она жила, был её продолжением: дорогим, минималистичным, безупречным и совершенно пустым. Пространство в пятьсот квадратных метров не знало захламлённости. Никаких картин на стенах, никаких ковров на полу, никаких безделушек на полках. Только гладкие поверхности, только чистые линии, только та особая, выверенная до миллиметра геометрия, которая делает интерьер похожим на музейный зал или операционную. Стены, отделанные шлифованным бетоном цвета слоновой кости, ловили свет и не отдавали его обратно. Пол из молочного ореха был отполирован до зеркального блеска, и в нём отражалось небо — багровое, дымчатое, чужое. Панорамное остекление от пола до потолка стирало грань между внутренним и внешним, превращая квартиру в стеклянную капсулу, зависшую над городом. Казалось, ещё немного — и она оторвётся от основания, улетит, растворится в вечернем мареве, так и не оставив после себя следа.

Мебель была не столько функциональной, сколько скульптурной. Кресло у окна — творение какого-то итальянского мастера, чьё имя она забыла сразу после покупки — походило на сгусток тумана, случайно осевший на полу. Дымчатое, бесформенное, оно притягивало взгляд и тут же обманывало ожидания: внутри этой воздушной, невесомой массы скрывалась жёсткая, негнувшаяся конструкция, державшая спину в том же напряжении, в каком она жила сама. Сесть в него по-человечески, расслабиться, откинуться на спинку было невозможно. Как и во всей её жизни.

В центре гостиной стоял длинный, низкий стол из чёрного дерева, такой тяжёлый, что казалось, его сюда не заносили, а вырастили из пола. На столе — единственный предмет, который можно было назвать украшением: древняя китайская чаша для омовения рук из тёмного нефрита. Она была пуста. В ней никогда не было воды. Ника покупала её не для того, чтобы использовать, а для того, чтобы смотреть. Нефрит хранил в себе глубину, которой не хватало этому дому, — ту самую, что таилась где-то на дне её собственных глаз, под слоем выученного спокойствия и многолетней бессонницы.

— —

Тени удлинялись. Солнце коснулось горизонта, и на мгновение стекло вспыхнуло багрянцем, окрасив её лицо в цвет старой меди. Ника не шелохнулась. Только глаза — два разных глаза, один с золотым пятном у зрачка — отразили этот свет, поймали, удержали, спрятали.

В кресле у низкого столика ерзал молодой человек по имени Тони — её ассистент. Он был здесь впервые и чувствовал себя неуютно. Ему казалось, что воздух в этой квартире пропитан чем-то нездешним. Не запахом дорогого парфюма или кофе, а запахом озона после грозы. И ещё чем-то, от чего у него слегка кружилась голова — будто на большой высоте, когда давление падает, а кислорода становится меньше.

— Она всегда так... стоит? — шёпотом спросил он у пожилой экономки Мириам, которая бесшумно вошла в комнату с подносом.

— После сложных клиентов — всегда, — так же тихо ответила та, ставя на столик медный чайник работы старого японского мастера и пиалу из тончайшего белого фарфора. — Она смотрит не на город. Она смотрит сквозь него.

Тони хотел спросить, что это значит, но передумал. В этом доме, с этой женщиной, у него вообще многие вопросы застревали в горле, не успев родиться.

Ника не слышала их. Она молча смотрела в окно. Для неё комната исчезла. Остался только вид: прямые проспекты внизу напоминали микросхемы, иглы небоскрёбов пронзали небо, а острова Пальмы казались рассыпанными драгоценностями на синей скатерти залива. Клиентка ушла полчаса назад. Молодая женщина из Москвы — красивая той увядающей красотой, которая уже начала требовать усилий, с глазами цвета перегоревшего тундрового неба. Она купила виллу на Пальме. Не дом — убежище. Не стены — крепость от мужа, от его равнодушия, от той женщины, ради которой он уходил по ночам. Купила, потому что не знала, что ещё можно купить, когда внутри всё уже давно продано и перепродано, а пустота осталась.

Ника сделала свою работу. Показала идеальный дом с идеальным видом. Упаковала иллюзию в квадратные метры и панорамные окна. Позволила ей поверить, что перемена мест равносильна перемене судьбы. Не сказала главного: что от себя не убежишь. Что море за окном — это просто вода. Что боль останется там же, где и была, только вид из окна станет другим. Но это не её дело. Она продаёт миражи. Клиенты платят за право верить. И за право не слышать правду.

— —

Ника наконец оторвалась от окна. Её движения были скупыми и точными — никакой суеты, никаких лишних жестов. Она повернулась, и свет упал на её лицо с другой стороны, обнажив на секунду то, что она обычно прятала: не возраст, нет — что-то другое. Усталость, которая не проходит после отпуска. Усталость, которая въелась в кости.

— Мириам, оставьте чай здесь, — голос Ники прозвучал ровно, без интонаций.

Экономка кивнула и вышла вместе с Тони, который так и не решился подойти ближе к окну. Он бросил последний взгляд на Нику — на её спину, прямую, как струна, — и почему-то подумал о дереве, которое растёт на скале, без земли, без воды, но почему-то всё ещё держится.

Ника осталась одна. Она подошла к столику. В узкой нише лежали две вещи: потёртый чёрный блокнот с пожелтевшими краями и гладкий камень с берега Финского залива — тёмно-серый базальт с прожилкой белого кварца. Она коснулась камня кончиками пальцев. Холод базальта был конкретным, живым напоминанием о том, что она всё ещё существует здесь и сейчас. О том, что было время — другая жизнь, другая она, та, которая ещё могла чувствовать что-то, кроме усталости.

Ника взяла пиалу с чаем. Улун уже остыл, но она всё равно сделала глоток. Вкус был дымным, терпким, с минеральной нотой — вкус того, что пережило огонь. Как она сама. Город за окном зажигал огни. Миллионы искусственных солнц вспыхивали в сгущающейся синеве, и каждый новый огонёк был чьим-то желанием, чьей-то надеждой, чьим-то отчаянным «я ещё могу чего-то хотеть». Ника закрыла глаза и позволила тишине накрыть её с головой.

— —

Холод базальта под пальцами был якорем. Но якорь вдруг стал слишком тяжёлым. Тяжесть потянула руку вниз, сквозь лакированное дерево столика, сквозь мраморный пол, сквозь перекрытия небоскрёба — прямо в промозглую сырость подвала заброшенной больницы на берегу Балтийского моря. На двадцать лет назад.

Воздух изменился. Исчез запах озона и дорогого чая. Вместо него появилась вековая пыль, запах мокрого бетона и чего-то кислого, застарелого. Запах отчаяния. Ника мысленно оказалась там. В длинном, тускло освещённом коридоре. Лампы под потолком моргали, как умирающие светляки, бросая на стены уродливые, дёргающиеся тени. Тишина здесь была другой: не густой и бархатной, как в Дубае, а звенящей, готовой треснуть от любого шороха.

Ей снова было шестнадцать. Денег нет. Будущего нет. Есть только мать, которая пьёт, и отец, которого больше нет — умер год назад, и после его смерти всё посыпалось. Сначала жильё, которое пришлось снимать в панельной пятиэтажке на окраине. Потом школа, которую она бросила, потому что не могла смотреть на лица одноклассников — одновременно жалостливые и брезгливые. Потом друзья, которые исчезли, как только перестало хватать на кафе и кино. Тренеры говорили: «Талант». Говорили: «Соберись». А потом — травма, и врачи сказали: «Забудь». Мать было всё равно — она была в очередном запое и едва помнила, что у неё есть дочь. Иногда, в редкие трезвые дни, она смотрела на Нику так, будто видела чужого человека, и спрашивала: «А ты кто?»

Ника сейчас сидела в нише за грудой старых матрасов, опустив голову. Компания, с которой она пришла искать острых ощущений, давно ушла, бросив её. Ей стало плохо, она спряталась сюда. Прижалась лбом к холодной кафельной плитке. В руке она сжимала обломок ржавой дверной петли. Острый. Тяжёлый. Достаточно, чтобы прекратить всё разом.

Ника чувствовала, как острый край впивается в ладонь. Боль была приятна. Боль была конкретна. Боль — единственное доказательство того, что ты ещё существуешь. Не воспоминание о той, кем ты была. Не надежда на ту, кем могла бы стать. А вот это — холод металла, режущий кожу, кафель под щекой, пыль во рту. Это было реально. И это было невыносимо.

И тогда свет в конце коридора изменился. Он не погас. Он стал другим. Из жёлтого, больничного, тусклого — глубоким, чёрным, живым. Из этой черноты проступил силуэт.

Ника не видела лица. Там, где должно было быть лицо, было только мерцание, только отражение, только намёк на человеческие черты, которые складывались и тут же распадались. Высокая фигура. Не отбрасывающая тени.

— Что ты держишь в руке? — спросил он.

Голос не имел тембра. Это была не вибрация воздуха — это была мысль, ставшая слышимой.

— Ничего, — прошептала Ника.

Ника не удивилась. Не испугалась видения. В этом не было ничего от той животной, слепой паники, которая должна была бы охватить человека, увидевшего в пустом больничном коридоре фигуру, сотканную из черноты. Она просто приняла его присутствие как факт — такой же неоспоримый, как холод кафеля под лбом, как ржавый вкус металла на губах, как тяжесть в груди, которая тянула вниз, в землю, в небытие.

Это был не человек. Это было нечто, стоящее за гранью человеческого, за той тонкой чертой, которую она сама уже почти переступила. Галлюцинация? Плод воспалённого сознания, уставшего от боли, от пустоты, от самой себя? Может быть. Но даже если так — это был самый красивый, самый понятный плод её умирающего разума. И она приняла его. Так принимают ветер, который невозможно удержать в кулаке. Так принимают море, которое не спрашивает разрешения войти. Так принимают смерть, когда она становится не врагом, а избавлением.

В его облике не было ничего, что можно было бы назвать формой. Ткань его существа перетекала, пульсировала, жила своей, неведомой жизнью — и в этом движении, в этой текучести было что-то древнее, что-то такое, что не поддавалось объяснению, но узнавалось всем существом. Как узнаёшь запах моря, даже если никогда не видел океана. Как узнаёшь вкус крови, даже если губы не были разбиты. Он стоял в трёх шагах, и свет, падавший из окна, не касался его. Не обходил стороной — именно не касался, как будто его тело было не из плоти, а из того вещества, из которого сделаны тени в самые глухие, безлунные ночи. Ника смотрела на него, и ей казалось, что она смотрит в глубину колодца.

Голос продолжал с ней говорить.

— Ты держишь свою смерть. Маленькую, ржавую, нелепую. Ты правда думаешь, что это выход?

— А есть другие? — безразлично парировала Ника.

— Всегда есть другие. Вопрос не в том, есть ли выход. Вопрос в том, готова ли ты искать.

— Я устала искать. Ничего не меняется. Никогда ничего не меняется.

Ника оттолкнула ботинком смятые бумаги, валявшиеся на полу. Пыль лежала большими хлопьями везде, копируя отпечатки подошвы. Где-то в соседней комнате зашумели крысы — или ей показалось.

— Неправда. Меняется всё. Каждую секунду. Просто ты смотришь не туда. Ты смотришь в прошлое, а будущее уже здесь, — голос стал ближе.

Она молчала. Сжимала обломок так, что кости белели. Ника была одета в чёрное, как и все тогда в её компании. Кожаная куртка, купленная в секунду и не по размеру, висела на плечах мешком, её воротник был поднят, а заклёпки на рукавах давно оторвались, оставив после себя маленькие дырочки. Под курткой — слишком узкая футболка с сердечком, которое после множества стирок превратилось в бледное, размазанное пятно. Юбка, короткая, клетчатая, была явно не по погоде, и ноги, бледные, худые, покрытые царапинами и синяками, торчали из тяжёлых армейских ботинок.

Всё в ней кричало. Кричала причёска — вызывающая, неровная, будто она пыталась отрезать от себя что-то, что не хотело отпускать. Кричал макияж — чёрные тени, размазанные до скул, подводка, которая давно потекла. Кричала поза — сжатая, защитная, готовая к удару, но уже не верящая, что удар не состоится. И в этом крике не было силы — только отчаяние, только вызов, который никто не принял, только желание стать кем-то, когда внутри не было ничего.

Но под всем этим — под слоем краски, под чёрной одеждой, под этой нелепой, кричащей маской — была просто девочка. Худая, с торчащими ключицами и острыми локтями, которые она обхватила руками, стараясь стать меньше, незаметнее, несуществующей. Она была бледна той особенной, восковой бледностью, которая бывает у тех, кто давно не ест, давно не спит, давно забыл, как выглядит солнце. Под глазами — синие круги, на скулах — тени, придававшие её лицу почти потустороннее выражение. Губы, тонкие, бескровные, были плотно сжаты, и в этом сжатии читалось не упрямство, а что-то другое — готовность к самому худшему, принятие его, почти желание.

Она была провалом. И знала это.

— Отдай, — сказал он.

Ника машинально разжала пальцы, повинуясь голосу. Железо упало на пол с глухим стуком. Звук разнёсся по пустому коридору, ударился о стены, вернулся эхом, и в этом эхе было что-то похожее на вздох облегчения.

— То, что ты носишь в себе, — продолжал он, — это не наказание. Это информация. Самая честная информация в твоей жизни. Ты можешь убить её вместе с собой. А можешь научиться читать. Понимать. И использовать.

Голос сделал паузу, дав ей время обдумать сказанное.

— Каждая потеря, каждая минута отчаяния — это кирпич. Ты можешь построить из них стену, за которой спрячешься от мира. А можешь построить лестницу.

— К чему? — всё ещё отгораживаясь от него, выдохнула Ника.

— К себе. К той, которая ждёт там, за всеми этими слоями. Ты ещё не представляешь, кто ты на самом деле. Ты даже не начинала себя знать.

Он сделал движение — это было похоже не на шаг, а на смещение пространства вокруг себя. Теперь она чувствовала его присутствие совсем рядом. Тепло не шло от него — шло что-то другое. Внимание. Полное, абсолютное, немигающее внимание. Без жалости, без сочувствия, без тепла, но и без осуждения. Просто взгляд, который видел всё. Каждый шрам, каждую слезу, которую она не позволила себе пролить, каждую ночь, когда она лежала без сна и считала трещины на потолке.

— Кто вы? — прошептала она. Она подтянула ноги к себе ещё ближе, повинуясь инстинкту, и почувствовала, как холодный кафель через тонкую ткань чулок впивается в кожу, напоминая: ты здесь, ты реальна, это не сон. Но если не сон, то что? Шизофрения — слишком дешёвое слово для того, что стояло перед ней. Слишком плоское. Слишком человеческое. Это

существо не было плодом воспалённого сознания — оно было слишком правильным, слишком цельным, чтобы родиться из хаоса её умирающей мысли. Как если бы кто-то взял саму идею присутствия и облёк её в форму, которую она, Ника, могла хотя бы отчасти воспринять.

— Тот, кто приходит, когда дверь готова открыться. У меня много имён. Ты можешь не давать мне никакого. Это неважно.

Она смотрела на него, и в голове её, пустой и звенящей от усталости, начали мелькать обрывки, осколки, намёки. Много имён. Значит, его называли по-разному. В разные времена. Может быть, он был тем, кого древние называли вестником, или тем, кто стоит на пороге, или тем, кто держит нить между жизнью и смертью. Она вспомнила книгу, которую когда-то читала в отцовской библиотеке, — старую, с выцветшими страницами, где говорилось о существах, не имеющих собственной формы, но принимающих облик, понятный только тому, кто их зовёт. Ангелы? Демоны? Слова были слишком грубы, слишком топорны, чтобы описать то, что стояло перед ней. Он был не из тех, кого можно назвать. Он был из тех, кто называет себя сам.

Она вдруг подумала: а может, он — это она сама? Не та, что сидит сейчас на холодном полу, сжимая обломок, а та, что могла бы быть. Та, что ждёт. Та, что не родилась, потому что не хватило времени, сил, веры. Может, он — её собственное будущее, пришедшее поговорить с прошлым. Может, поэтому у него нет лица — потому что у будущего нет лица, пока ты сама его не создашь.

Или он — тот, кто всегда рядом, но кого замечают только на краю. Как тишина перед грозой. Как тот миг между сном и пробуждением, когда ещё можно выбрать, в какую реальность шагнуть.

— Вы вернётесь? — робко спросила Ника.

— Когда ты будешь готова к следующему шагу.

Он начал таять. Чёрный свет бледнел, становился серым, как зимнее утро, как пепел, как память, которая уходит, оставляя только ощущение, что что-то было. Контуры его фигуры размывались, распадались, но не исчезали — перетекали в ту самую черноту, из которой явились, возвращались туда, где, наверное, и было его место. Не здесь. Не сейчас. Не для неё — пока.

Она смотрела, как он тает, и чувствовала, как что-то внутри неё, сжатое в тугой, болезненный узел, начинает медленно распускаться. Не потому, что он дал ответы. Он не дал ничего, кроме вопроса. Но, может быть, вопрос — это и есть ответ. Может быть, само то, что он пришёл, что он существует, что он смотрел на неё без жалости и без осуждения, — это и было тем, ради чего стоило остаться.

Когда последние очертания растаяли, растворились в сером свете больничного коридора, она осталась одна, со странным, новым чувством, которое не могла назвать. Не надежда — слишком громкое слово. Не облегчение — слишком сладкое. Скорее, тихое, почти незаметное «ещё». Ещё не всё. Ещё есть время. Ещё можно что-то сделать.

Она не знала, кто он был. Может быть, никогда не узнает. Но что-то изменилось в ней в ту ночь. Что-то сдвинулось, перетекло, встало на другое место. Как кость, которая наконец встала в сустав после долгого вывиха.

Ника поднялась на ноги, пошатываясь. Колени дрожали. Где-то далеко хлопнула дверь. Кто-то крикнул, засмеялся. Жизнь возвращалась в свои берега, такая же серая, такая же привычная, такая же ненужная. Но теперь в этой серости, в этой привычности, в этой ненужности было что-то другое. Что-то, чего она не могла объяснить, но чувствовала каждой клеткой, каждой заживающей раной, каждым ударом сердца, которое вдруг снова захотело биться.

Она сделала шаг. Потом другой. Пошла к выходу, туда, где в щели разбитого окна пробивался свет — тусклый, больничный, но всё же свет. Она шла и чувствовала, как обломок, оставленный на полу, становится не памятью о конце, а напоминанием о начале. О том, что жизнь — это не то, что с тобой случилось. А то, что ты решила сделать с тем, что случилось.

Она вышла на улицу. Холодный ветер с залива ударил в лицо, и она вдохнула его полной грудью — впервые за очень долгое время. Вдохнула и почувствовала, что хочет жить. Не существовать. Не терпеть. Не выживать. А именно жить. И это было страшнее, чем любая ржавая петля в руке.

Глава 2

Пиала выскользнула из пальцев Ники, словно сделанная из тончайшего льда. Она разбилась — шелковый ворс персидского ковра немного смягчил падение, но чай расплескался тёмной кляксой, похожей на чернильное пятно. Несколько капель попали на белоснежную манжету её шелковой блузки. Ткань тут же потемнела, впитывая жидкость.

Ника вздрогнула, будто её ударило током. Запах улуна — дымный, терпкий — резко ударил в нос, вырывая из промозглого подвала обратно в кондиционированную прохладу пентхауса. Но холод кафельной плитки всё ещё ощущался на лбу. Ладонь помнила тяжесть ржавого железа.

Она посмотрела на разбитую пиалу. Три крупных осколка и крошево помельче. Белый фарфор, который ещё минуту назад держал тепло, теперь лежал на ковре бесполезной россыпью.

Мелодичный звон домофона разрезал тишину, заставив её вздрогнуть во второй раз.

Ника подошла к панели, обходя осколки. На экране был Лукас. Его лицо, чуть искажённое широкоугольным объективом, тёплое, живое, немного растерянное. За спиной — слепящий свет холла и кусок вечернего неба, уже тронутый багрянцем. Она нажала кнопку, открывая лифт.

Минуту спустя дверь в пентхаус бесшумно скользнула в стену. Лукас вошёл, и сразу что-то изменилось. Воздух стал другим. Запах горячего асфальта, тонкий аромат его одеколona с нотами кедра и бергамота, лёгкое облачко тепла от разгорячённой солнцем кожи — всё это ворвалось в стерильную чистоту.

— Привет, — сказал он. — Я был рядом, подумал... вот.

Лукас протянул ей небольшой свёрток из крафтовой бумаги, перевязанный грубой бечёвкой. Она знала эту лавку в старом городе — маленькую, затерянную между лавкой медника и мастерской, где выдували стекло. Там пекли финики, покрывали их тончайшим шоколадом и посыпали золотой пылью шафрана. Упомянула об этом однажды, в разговоре, месяца два назад. Он запомнил.

— Заходи, — сказала она ровно. — Только осторожно. Там разбито.

Ника посторонилась, пропуская его. Она смотрела, как он переступает порог, и в который раз отмечала, как не вписывается он в этот выверенный, стерильный мир. Лукас был из другой породы — из той, что не задерживается в стеклянных башнях, а живёт где-то внизу, в старом городе, где стены помнят ветер, а воздух пахнет не кондиционером, а жареным миндалём и кофе.

Ему было тридцать — на восемь лет меньше, чем ей, но эта разница чувствовалась не в чертах лица, а в той особенной, почти юношеской лёгкости, с какой он держался. Светлые, почти золотистые волосы вились крупными кудрями, непослушными, вечно лезущими в глаза. Кожа на лице, смуглая, обожжённая солнцем, странно контрастировала с этой светлой копной

— такой контраст бывает у тех, кто много времени проводит на стройках под открытым небом. Загар лежал неровно, выгорал на висках до рыжеватого оттенка, и в этом тоже было что-то от его натуры: небрежной, нерациональной, живущей не по правилам.

Он был небогат — это читалось в простой льняной рубашке, застиранной до мягкости, в сандалиях, потёртых по швам, в часах с потрескавшимся стеклом. И его совершенно не смущало это соседство с мрамором, бетоном и чёрным деревом. Он чувствовал себя здесь так же свободно, как на своей захламлённой мастерской.

В нём не было амбиций. Точнее, они были — но совсем иного свойства. Он хотел реставрировать старый ветряк в районе Аль-Джадда, превратить его в библиотеку, где дети из пригорода могли бы читать книги под скрип столетних балок. Он хотел, чтобы его проекты не кричали о себе, а тихо, терпеливо служили тем, кто в них нуждался. И в этом его бескорыстии было что-то трогательное и одновременно чужое для Ники — слишком далёкое от её мира сделок, контрактов и выверенных рисков.

Но в этой лёгкости, в этой открытости, в этой готовности любить без условий было и то, что Ника называла про себя «слишком». Слишком сладкий. Слишком податливый. Слишком предсказуемый. Он не бросал вызов, не заставлял её напрягаться, не оставлял места для той острой, почти болезненной игры, которую она вела сама с собой все эти годы.

И сейчас, глядя, как он суетится с веником и совком, как аккуратно сметает осколки, она чувствовала только усталость. Не от него — от себя. От того, что не могла ответить тем же теплом.

— Твоя пиала... Ты не порезалась? Стой, я всё уберу.

Лукас уже склонился над осколками, и его кудри упали на лоб, почти коснулись пола. В этом жесте было что-то мальчишеское, беззащитное.

Ника прислонилась к стене и смотрела на него. Без внутреннего движения. Только лёгкая усталость от необходимости поддерживать разговор.

— Всё, — Лукас выпрямился, держа в руках совок с осколками. — Куда выбросить?

— Не выбрасывай. Положи туда.

Она кивнула на чёрную лакированную шкатулку у дивана — для вещей без немедленного назначения. Для отсроченных решений. Для того, чему ещё не пришло время.

Лукас послушно пошёл, ссыпал осколки в шкатулку, закрыл крышку, которая щёлкнула с тихим, почти музыкальным звуком. Потом вернулся на кухню, вымыл руки в медной раковине.

— Будешь чай? — спросила она, просто чтобы что-то сказать.

— Если ты будешь.

Ника заварила новый чай. Молча. Достала из шкафа другую пиалу — такую же белую, такую же тонкую, но незнакомую, без истории. Налила, поставила перед ним.

Он стоял у окна, смотрел на ночной город. Огни внизу уже зажглись, и небоскрёбы превратились в светящиеся кристаллы.

— Красиво, — сказал он, не оборачиваясь. — Иногда думаю: как можно привыкнуть к такому виду? Каждый день смотреть на это и не сойти с ума от счастья?

— Привыкаешь ко всему, — ответила она.

— Наверное. — Он повернулся, посмотрел на неё. — Ты сегодня какая-то... другая.

— Какая?

— Не знаю. Отстранённая. Ещё больше, чем обычно.

Ника пожала плечами. Не хотела объяснять. Не хотела говорить о том, что только что была в шестнадцати годах, в заброшенной больнице, на грани.

— Рабочий день был тяжёлым, — сказала вместо этого.

Он кивнул, принимая ответ.

Они стали пить чай. Говорить о пустяках — о его новом проекте, о погоде, о том, что завтра будет пятница и рынки в старом городе будут работать до полуночи. Ника отвечала односложно, но он, кажется, не замечал.

Он рассказывал о разрушенном ветряке, который богатый араб хотел превратить в библиотеку. О том, как они с бригадой разбирали завалы и нашли под слоем штукатурки кладку из розового песчаника. О том, как пришлось три недели уговаривать хозяина не сносить старую лестницу. О том, как вечерами, когда рабочие расходились, он оставался один, сидел на крыше и смотрел, как солнце садится за кварталы.

Ника слушала и кивала, думая о другом. О том, что его мир был ей чужим, но в этой чуждости было что-то успокаивающее.

— А завтра, — говорил Лукас, оживляясь, — на рынке в Аль-Фахиди будет тот старик, который делает украшения из кораллов. Помнишь? Ты ещё тогда сказала, что у него самые настоящие камни. Он привозит их из Рас-эль-Хаймы, сам ныряет.

— Мы можем сходить, — сказала она, и это было сказано не потому, что она хотела. А потому, что он так старался.

Лукас просиял.

— Правда? — спросил он, и в голосе его было столько надежды, что ей стало почти неловко.

— Правда.

Он сжал её руку — быстро, осторожно, будто боялся, что она передумает. Потом отодвинул чашку, поднялся.

— Тогда я заеду за тобой после обеда. Хорошо?

— Хорошо.

Она провожала его до двери. Перед уходом он задержался в дверях. Обернулся. Посмотрел на неё — долго, внимательно.

— Ника, — сказал тихо. — Ты знаешь, что я... В общем, если что — я рядом.

Она кивнула.

Он ушёл.

Дверь закрылась, и тишина вернулась — другая, не та, что была до него. Более лёгкая, более человеческая. Ника стояла посреди прихожей, вдыхая остатки его запаха, и думала о том, что завтра они пойдут на рынок. Она посмотрит на кораллы, на агаты, на старика с руками-картами. Может быть, даже купит что-нибудь. Что-нибудь простое. Живое. Настоящее.

Глава 3

На следующий день Ника проснулась рано, когда город ещё не успел надеть свою маску. Оделась просто: шифоновое платье нежного персикового цвета на тонких бретелях, лёгкие сандалии. Волосы распустила, и они упали на плечи тяжёлой, бледно-золотой волной. За год они отросли и потеряли ту вызывающую рыжину, которой она когда-то кричала миру о своём существовании. Теперь они были просто светлыми — почти прозрачными, словно время само смыло с неё всё лишнее.

Город встретил её жарой. Утренней, ещё шадящей, когда солнце только начинает набирать силу, а ветер с залива уже несёт влажность и соль.

Она пошла в сторону старого города — туда, где дома не упираются в небо, а жмутся друг к другу узкими фасадами, где мостовые выложены камнем, помнящим копыта лошадей, где воздух пахнет жареным миндалём, кофе и чем-то неуловимым, что она называла про себя «вкусом времени».

Старый город просыпался медленно, как нехотя. Лавки только открывались, хозяйка выносили стулья, поливали тротуары из шлангов, перекидывались словами на языке, которого она не понимала, но который казался ей музыкой. Ника шла по узким улочкам, мимо стен, увитых плющом, мимо витрин, где на бархатных подушечках лежали украшения из янтаря и серебра, мимо кафе, где из открытых дверей тянуло свежей выпечкой.

На перекрёстке она остановилась.

Прямо перед ней, на низкой скамейке у фонтана, сидела женщина с ребёнком. Девочка лет четырёх с тёмными, как смородина, глазами и кудряшками, выбивающимися из-под панамы, сосредоточенно тыкала пальцем в струю воды. Каждый раз, когда вода ускользала, она звонко смеялась, запрокидывая голову, — и этот смех, чистый, ничем не отягощённый, ударил Нику в грудь.

Мать сидела рядом, смотрела на дочку, и в её улыбке было то особое, беззащитное счастье, которое бывает только у тех, кто смотрит на продолжение себя. Она не торопила девочку, не одёргивала, не поправляла панамку. Просто была рядом. Просто смотрела. Просто любила.

Ника смотрела на них, и в ней — где-то глубоко, в том месте, которое она считала давно мёртвым, — шевельнулось что-то. Не зависть — зависть была бы слишком громкой. Скорее, тоска. Тихая, почти беззвучная, как звук, который слышишь не ушами, а костями.

Ей было тридцать восемь. И у неё не было ничего, что можно было бы назвать продолжением. Были сделки, были квадратные метры, были побег, которые она помогала совершать другим. А своего побега не было. Своего дома — не в смысле пентхауса с панорамными окнами, а того, другого, где пахнет свежим хлебом и детским смехом, — не было. И человека, с которым можно было бы сидеть на скамейке у фонтана, не торопясь, не бояясь, не защищаясь, — тоже не было.

Она перевела взгляд на девочку, которая наконец поймала струю, взвизгнула от восторга и тут же выпустила, чтобы поймать снова. Глаза её горели — те самые, смородиновые, в кото-

рых отражалось всё небо. А были бы у её ребёнка такие же? Или другие — серо-зелёные, с золотым пятнышком, как у неё самой? И чьи бы они были? Лукаса? Его глаза — тёплые, карие, с вечной, чуть виноватой надеждой.

Он был бы хорошим отцом, она знала. Он был бы тем, кто водит детей на рынок, показывает им старика с кораллами, учит различать агаты и бирюзу, рассказывает, как море выносит камни после шторма. Он был бы мягким, терпеливым, всегда рядом. Но когда она представляла him рядом с собой — не в этой картинке с детьми, а в той, другой, где ей нужно было бы открыться, снять броню, перестать быть той, кого все боятся и уважают, — что-то не складывалось. Не потому, что он был плох. Потому что он был слишком правильным. Слишком понятным. А она уже не была ни простой, ни понятной.

Девочка на скамейке вдруг подняла голову и посмотрела прямо на Нику. Её глаза — чёрные, глубокие, не по-детски серьёзные — встретились с её глазами. На секунду, на одно короткое, невыносимо долгое мгновение Нике показалось, что девочка видит её насквозь. Видит ту, что сидела в больничном коридоре, и ту, что стоит сейчас, застывшая, посреди чужого города, и ту, что ждёт где-то там, за гранью, не зная чего. Потом девочка улыбнулась — той улыбкой, которая бывает только у детей, ещё не знающих, что мир может быть жестоким, — и отвернулась к фонтану.

Ника выдохнула, сама не заметив, что задержала дыхание.

Она пошла дальше, но мысли о детях не отпускали. Она вспомнила, как в детстве сама бегала по таким же узким улочкам — в другом городе, на другом море, — и ловила ртом солёные брызги, и верила, что жизнь будет длинной, долгой, что она успеет всё: и любовь, и дом, и тех, кто будет смотреть на неё так же, как эта женщина смотрит на дочку. А мир, который обещал быть большим, вдруг сжался до размеров ржавого обломка в руке, до вопроса, который она до сих пор не могла себе задать: «А что, если я не создана для того, чтобы быть счастливой?»

Она свернула в переулок, где было тише, где тень от высоких стен падала на мостовую, делая воздух прохладным и почти прозрачным. Здесь, в этой тишине, она могла слышать себя. И то, что она сейчас услышала, было ей не знакомо. Это был не тот голос, что учил, требовал, ставил задачи, — тот, из черноты, который когда-то сказал ей, что боль — это данные. Этот голос был другим. Тихим. Тёплым. Он говорил: «Ты хочешь детей. Ты хочешь дом. Ты хочешь того, кто будет сидеть с тобой на скамейке и смотреть, как вода стекает по детским пальцам». И это было правдой. Она хотела. Но она не знала, как впустить эту правду в свою жизнь, где не было места для такой простой, такой уязвимой любви.

Она остановилась у витрины, где на бархатных подушечках лежали украшения из камня. Кораллы, агаты, бирюза — всё то, о чём говорил Лукас. Она смотрела на них, и в её голове крутилась одна и та же мысль: «Может, с ним? Может, с Лукасом?» Он был рядом. Он хотел её. Он был готов ждать. Но что-то внутри — не страх, не холод, а что-то другое, чего она не умела назвать, — удерживало её на месте. Не позволяло сделать шаг.

Ника подняла руку, чтобы коснуться стекла, и в тот же миг почувствовала: воздух стал другим. Не прохладнее и не теплее, а как будто более внимательным. Тень от стены, падавшая на её плечо, чуть сгустилась. И в этой сгустившейся тени было что-то живое. Ника замерла. Ей показалось, что кто-то стоит совсем рядом, за спиной. Но когда она обернулась, никого

не было. Только пустой переулок, только тени от домов, только далёкий приглушённый шум базара.

Ощущение не уходило. Оно было близким, почти невесомым, но в этой невесомости чувствовалась тяжесть, материальность — как если бы само пространство вокруг неё стало чуть гуще, чуть медленнее. Стало слышать её дыхание, мысли, желания. Она закрыла глаза на мгновение, и в темноте, под веками, ей показалось, что кто-то улыбается. Не так, как улыбаются люди, — без губ, без лица. Просто тепло, которое знает о ней больше, чем она сама.

Она открыла глаза и поняла: это не Лукас. Это не тот, с кем можно сидеть на скамейке и смотреть на детей. Это не тот, кто придёт с финиками и будет собирать осколки. Это было что-то другое. Что-то, что она не могла объяснить, но чувствовала каждой клеткой, каждым шрамом, каждым ударом сердца. Это было то, о чём она не знала, но хотела. И это «хотела» было сильнее всех её страхов, всех сомнений, всех «правильно» и «надо». Оно просто было — как тот самый смех девочки у фонтана, как свет, падающий на камни в витрине, как тишина в переулке, где она стояла одна, но чувствовала, что не одна. И никогда не была одна.

Ника не знала, как это назвать. Не знала, что с этим делать. Но знала, что это — важно. Это — то, ради чего стоило жить. Ради чего стоило ждать. Ради чего стоило открыть ту дверь, которую она так долго держала закрытой.

Она сделала шаг назад, отходя от витрины, и тепло отступило, растворилось в воздухе, оставив только лёгкое, едва уловимое послевкусие — как запах терпкого дыма после того, как дымятся благовония.

Ника пошла обратно, свернула за угол, туда, где дома смыкались стенами, оставляя между собой лишь узкую щель, в которую с трудом пробивался свет. Здесь было тихо. Тишина стояла такая, что каждый шаг отдавался от камня, каждый вздох казался громче, чем следовало бы. Даже собственное сердце билось слишком шумно для этого места.

Посредине маленькой площади росло дерево.

Она видела это дерево прежде, проходя мимо. Тогда оно стояло голым, чёрным, мёртвым, и она думала, что жара и бетон сделали своё дело.

Сейчас оно было в цвету.

Ветви, ещё вчера казавшиеся обугленными, теперь были усыпаны алыми гроздьями. Цветы теснили друг друга, перекрывали, налезали — и в этом безумном, неправдоподобном цветении было что-то отчаянное, почти неприличное. Как если бы дерево знало, что живёт последний день, и отдавало всё без остатка. Лепестки — крупные, бархатистые, с загнутыми краями — вбирали в себя свет, делали его гуще, тяжелее, и он стекал по ним, капал на мостовую, растекался по камням алыми лужами.

Ветер, пробравшийся в переулок, качнул верхние ветви. Лепестки сорвались — не все, только те, что держались слабее других, — и поплыли в воздухе. Медленно. Как во сне. Как в том единственном сне, который помнят все, пока спят, но никто не может рассказать. Они кружились, цеплялись друг за друга, разлетались, снова сходились — и в этом танце было что-то такое, что не поддаётся словам, но узнаётся всем существом.

Она стояла под дождём из алых лепестков, не двигаясь, не дыша, не смея нарушить то, что происходило здесь, в этой щели между стенами, в этом мгновении, которое никак не хотело становиться прошлым. Один лепесток опустился ей на плечо, другой зацепился за волосы, третий упал на раскрытую ладонь — и она почувствовала его тепло. Живое. Почти человеческое.

Ветер, что минуту назад лишь покачивал ветви, вдруг замер. Но не стих. Замер — как замирает струна, взятая не на звук, а на предчувствие. В тишине, наступившей между одним дуновением и другим, ей почудился шёпот. Обрывки слов. Не звук — прикосновение к чему-то, что лежало в ней глубже памяти, глубже имён, глубже той тьмы, из которой она когда-то вышла.

«Сава...»

Шёпот тянулся, вибрировал, и в этой вибрации складывалось нечто, похожее на имя. Она не разобрала его — губы не шевельнулись, слух лишь уловил обрывок «...рон...» — но кончики пальцев, всё ещё касающиеся лепестка, вдруг обожгло. Там, где бархатистая алая плоть соприкасалась с кожей, ей почудилось, что она держит не лепесток, а искру. И в этой искре билось слово, которого она не знала, но узнала бы из тысячи.

В этот момент из-за поворота вылетел велосипедист. Мальчишка в белой рубашке, с корзиной хлеба, несущийся так, будто за ним гнались. Звонко его — резкий, медный — ворвался в тишину, разорвал её, и мир, замерший на миг, вдруг снова пришёл в движение. Колесо скрипнуло в сантиметре от её ноги, руль вильнул, и велосипедист, что-то крикнув на лету, пронёсся мимо, оставив после себя только хлопок двер где-то вдалеке и запах свежего хлеба, смешавшийся с цветочной горечью.

Но она не видела его. Не слышала. Она смотрела, как лепестки, сорванные ветром его одежды, закружились быстрее, заматались, забились в узком пространстве переулка, — и в этом внезапном, хаотичном движении было что-то своё, не менее прекрасное, чем в их медленном, торжественном падении.

Она стояла под деревом, на алом ковре, устилавшем камни, и чувствовала, как время, которое всегда давило на плечи, требовало, торопило, вдруг остановилось. Оно просто замерло — не для того, чтобы дать ей передохнуть, а для того, чтобы она увидела: вот оно, чудо. Не то, что обещают в книгах, не то, что ждут годами, а простое, почти неловкое, стыдливое чудо цветущего дерева в каменном мешке, где, по всем законам, цвести нечему.

Ника подняла голову. Ветви над ней качались, роняя лепестки, и сквозь их алую пелену было видно небо — высокое, бледное, чужое. И в этой картине, в этом мгновении, которое никак не кончалось, было всё: и тоска по дому, которого у неё не было, и надежда, которую она давно похоронила, и что-то ещё, чему она не знала названия, но чувствовала каждой клеткой, каждым шрамом, каждым ударом сердца.

Она постояла ещё минуту. Потом отряхнула с плеч лепестки, провела рукой по волосам, вынимая те, что застряли, и пошла дальше. Не оглядываясь. Потому что знала: это останется с ней. Навсегда. Как напоминание о том, что жизнь — даже там, где её не ждут, — всё равно пробивается сквозь камень, сквозь бетон, сквозь тишину, которую сама же и создала.

Хорошо. Я перехожу к главе 4 и далее. По главам 12 (дельфины) и 15 (спа с Лейлой) — я их проанализирую и приму решение: либо убрать, либо полностью переписать. Сейчас давайте пройдем по порядку.

Глава 4

День выдался длинным. Таких в её календаре было большинство — выстроенных с феноменальной точностью, расписанных по минутам, не оставляющих зазоров для случайностей. Ника любила такие дни. В них можно было спрятаться от себя.

Дубай внизу жил своей жизнью: ползли огни машин по нитям проспектов, мигали бортовые огни заходящих на посадку лайнеров. Всё это казалось декорацией к фильму, который она смотрела со стороны.

Ей нужно было работать. Это был единственный способ быть здесь и сейчас. Не в прошлом, где ждала ржавая петля. Не в будущем, которого она боялась. А здесь — в переговорах, в контрактах, в цифрах, которые имели вес и значение.

Она прошла в гардеробную. В ней царил идеальный порядок — результат работы целой команды стилистов и консультантов по имиджу. Но Ника не смотрела на вешалки с именами модных домов. Её взгляд скользил по тканям, ища не красоту, а броню.

Она выбрала костюм от Agmani — тёмно-серый, почти графитовый. Жёсткая линия плеча, безупречный крой. Никаких оборок, никаких мягких линий. Это была униформа воина на поле битвы за чужие мечты.

Пока одевалась, Ника поймала себя на том, что механически повторяет движения, которым её научил Люмин: «Анализируй. Декодируй. Используй». Это был алгоритм выживания. Она встроила его в себя так глубоко, что он стал рефлексом.

Спустя сорок минут чёрный Mercedes-Benz S-класса бесшумно скользил по шоссе Шейха Зайда. Ника сидела на заднем сиденье, глядя в окно на проносившийся пейзаж. Небоскрёбы сменялись пустыней, затем снова небоскрёбами. Город был похож на мираж, который никак не мог обрести окончательную форму.

Водитель молчал — он работал с ней уже пять лет и знал цену лишних слов. Его звали Рашид, и за эти годы они обменялись едва ли сотней фраз. Он знал её маршруты, её привычки, её молчание. И никогда не нарушал его.

Встреча была назначена в «Атлантисе», на знаменитом острове-пальме. Место кричащее, показное. Ника поморщилась, когда машина свернула на мост, ведущий к отелю. Она ненавидела такие места именно за отсутствие вкуса к тишине. Но клиент платил за бренд, а не за уют.

В лобби отеля пахло дорогим парфюмом — удушающая смесь из десятка ароматов. Ника прошла к лифтам, не обращая внимания на восхищённые взгляды персонала и гостей. Её здесь знали. Знали её лицо, её репутацию, её счета. Но никто не знал её.

На верхнем этаже, в одном из президентских люксов, её уже ждали. Когда двери лифта открылись в коридор с ковровым покрытием цвета слоновой кости, Ника сделала глубокий вдох, словно ныряльщик перед погружением. Она активировала «маску». Это не было при творством — это была вторая кожа.

Она постучала в дверь номера 7201.

Дверь открыл мужчина лет сорока пяти. У него были глаза человека, который слишком много заработал и слишком мало спал. Взгляд цепкий, оценивающий, но где-то на самом дне плескалась усталость.

— Господин Елисеев? — голос Ники был бархатным и холодным одновременно.

— А вы, должно быть, Ника Каменская? Проходите.

Он пропустил её внутрь. Номер был огромен: панорамные окна во всю стену, вид на залив, мебель из белого дерева и золота.

На диване сидела женщина. Молодая, напряжённая до предела. Пальцы её нервно теребили ремешок сумки от Chanel.

— Моя супруга, Виктория, — представил Елисеев без особой теплоты.

Ника кивнула ей с профессиональной улыбкой.

Следующие полчаса были похожи на шахматную партию с завязанными глазами. Ника раскладывала перед ними буклеты: виллы на Пальме Джумейра с приватными пляжами, пентхаусы с лифтами прямо из гостиной, особняки на островах Джумейра Бэй. Она говорила о видах на Бурдж-Халифу, о близости к лучшим школам и клиникам, о статусе и безопасности.

Но она видела правду. Видела это в том, как Виктория отводила взгляд от мужа, когда он говорил о «статусе». Видела это в том, как Елисеев смотрел на жену — не с любовью, а как на дорогой актив. Они покупали не дом с видом на море. Они покупали расстояние друг от друга, упакованное в мрамор и панорамные окна.

— Этот вариант мне кажется наиболее... перспективным, — Елисеев ткнул пальцем в фотографию виллы с каскадным бассейном. — Закрытая территория, охрана двадцать четыре на семь.

— Да, — тихо добавила Виктория, впервые подав голос. Голос был надтреснутым. — Нам нужно... уединение.

Ника посмотрела ей прямо в глаза. На долю секунды их взгляды встретились по-настоящему. В глазах Виктории Ника увидела ту самую пустоту, которую знала слишком хорошо.

— Понимаю вас обоих как никто другой, — сказала Ника мягко, но так тихо, чтобы услышал только тонкий слух Виктории. — Иногда смена обстановки — это единственный способ услышать себя в тишине.

Виктория вздрогнула и посмотрела на Нику с удивлением и испугом, словно та прочитала её мысли.

— Что ж... — Елисеев захлопнул папку. — Мы берём этот вариант. Подготовьте документы к завтрашнему утру.

— Конечно.

Когда они ушли — Елисеев чеканил шаг впереди, Виктория плелась сзади, словно тень, — Ника осталась сидеть в кресле ещё несколько минут. В номере пахло дорогим кофе и отчаянием.

Она достала телефон и набрала сообщение ассистенту: «Контракт по адресу Palm Jumeirah Villas 45 закрыт. Выставить счёт на полную предоплату».

Вставая, она поймала своё отражение в зеркальной поверхности бара. В отражении за её спиной виднелся залив и огни Дубая — мираж из стекла и бетона. Она подумала о том, что продаёт не дома. Она продаёт тишину. Продаёт расстояние. Продаёт право быть одной.

Она вышла из номера так же бесшумно, как и вошла. В коридоре было тихо и пусто. Она нажала кнопку вызова лифта и прислонилась к стене затылком. Холод мрамора приятно остужал кожу, помогая собраться с мыслями перед следующей встречей.

Телефон в кармане пиджака завибрировал. Номер был московский, но не головной офис. Это был её старый контакт — юрист по сделкам.

Ника достала аппарат и посмотрела на экран.

Она нажала «принять».

— Слушаю тебя внимательно.

Голос Игоря был приглушённым, будто он говорил из-под одеяла.

— Ника... Тут такое дело. По «Арабским Башням». Помнишь ту сделку с офшором «Глобал Вест»?

— Конечно. Мы закрыли её месяц назад. Объект премиум-класса.

— В том-то и дело... — Игорь замялся. — У меня тут источник в финансовой разведке шепнул... По их счетам идёт странное движение. Заморозка активов намечается. Не официально пока, но... запахло жареным. Я бы на твоём месте притормозил с переводом комиссионных на их сторону до выяснения.

Ника медленно отстранила телефон от уха и посмотрела на своё отражение в полированной двери лифта, который как раз подъехал. В отражении что-то было не так.

За её спиной, в глубине зеркальной стали, коридор отеля казался темнее, чем он был на самом деле. Тени в углах сгущались, превращаясь в чернильные лужи. И одна из теней... она не была статичной. Она колыхалась, словно густой дым под водой.

Ника моргнула. Двери лифта открылись с мягким «дзинь».

Тень исчезла.

— Ника? Ты меня слышишь? — голос Игоря вернул её в реальность.

— Да, Игорь. Слышу. Спасибо за информацию. Я разберусь.

Она сбросила вызов и шагнула в кабину лифта. Нажала кнопку лобби.

Внутри было пусто и прохладно. Зеркальные стены множили её образ. Но когда двери начали закрываться, ей показалось... В одном из дальних отражений мелькнуло что-то высокое, тёмное, стоящее там, где никого не было. Просто сгусток мрака в безупречном интерьере отеля «Атлантис».

Двери сомкнулись. Кабина плавно пошла вниз.

— —

Выйдя на улицу, Ника решила немного пройтись под палящими лучами дубайского солнца. Странное решение для той, что предпочитает тень и прохладу. Подойдя к берегу, она остановилась.

Волны всё так же набегали на берег. Равнодушные. Вечные. Прекрасные.

Волны набегали и уходили. И в их ритме, в их бесконечном повторении одного и того же движения, было что-то утешительное. Мир существовал задолго до неё. И будет существовать после. А её страхи, её безупречно выстроенная жизнь, её одиночество — всего лишь рябь на поверхности этого огромного, равнодушного, прекрасного мира.

Она не заметила, как мысль о волнах стала мыслью о нём. О том, кто однажды сказал: «Ты можешь построить из страха стену. А можешь — лестницу».

— —

Ей двадцать два. Офис маленькой риелторской конторы на окраине Москвы. Пахнет дешёвым кофе, пылью и отчаянием. Она сидит за столом, заваленным бумагами, и сжимает виски пальцами. Перед ней — распечатанный email. Отказ. Не просто отказ — унижительный, с намёками на неопытность, на «девичью мягкость». Сделка, которая должна была стать трамплином, рассыпалась в прах.

Паника сжимает горло ледяными пальцами. Мысли несутся обрывками: «не справилась», «никчёмная», «опозорилась», «лучше бы тогда, в том коридоре...»

И тогда воздух в углу кабинетика, за дешёвым пластиковым фикусом, меняется. Не становится другим — становится внимательным. И он появляется. Люмин.

Она не видит лица — только мерцание, только силуэт, только серебристый свет там, где должны быть глаза. Но знает: это он.

— Ты плачешь, — говорит он. Не вопрос — констатация.

— Я всё потеряла, — выдыхает она, и голос срывается, детский, беспомощный. — Он... он меня обманул. Я была слишком мягкой. Я всё испортила.

— Ты потеряла не всё. Ты потеряла одну сделку.

— Этого было достаточно! Это был мой шанс!

— Твой шанс — не в этой сделке. Твой шанс — в том, что ты теперь знаешь.

— Что я знаю? Что я ни на что не гожусь?

— Ты знаешь, где ошиблась. Ты знаешь, чего не учла. Ты знаешь, что в следующий раз будешь смотреть не только на объект, но и на того, кто стоит за ним.

Она молчит, глотая слёзы.

— То, что ты чувствуешь сейчас, — продолжает он, и голос его ровен, как поверхность озера, — это не наказание. Это цена. Ты заплатила её за знание. Дешево, если подумать. Многие платят годами за то, что ты узнала за три месяца.

— Но мне тяжело, — шепчет она. — Понимаешь? Мне просто тяжело.

— Понимаю. — В его голосе впервые появляется что-то, похожее на тепло. — И это правильно. Ты чувствуешь — значит, ты живая. Мёртвым неведомо такое. Ты чувствуешь — значит, ты есть. Значит, можешь идти дальше.

Он делает шаг ближе.

— Ты боишься не провала, — говорит он тихо. — Ты боишься, что провал — это ты. Что ты и есть — одна сплошная ошибка. Что тот день в больнице был правдой, а все эти годы — только отсрочка.

Она замирает. Потому что это правда.

— Это не так, — говорит он. — Ты — не твой страх. Ты — не твои ошибки. Ты — не твоё отчаяние. Ты — та, кто всё это чувствует. И пока ты чувствуешь — ты жива. А пока ты жива — всё можно изменить.

— Как? — шепчет она.

— Дыши, — говорит он. — Сначала просто дыши. Потом встань. Потом подойди к окну. Потом посмотри на этот город. Тысячи людей в нём каждый день проигрывают. И тысячи — встают и идут дальше. Ты не хуже их. Ты просто пока не знаешь, что умеешь вставать.

Она слушает. Дыхание выравнивается. Слёзы высыхают. Руки перестают дрожать.

— А если я снова упаду? — спрашивает она.

— Упадёшь, — соглашается он. — И снова встанешь. И снова упадёшь. И снова встанешь. Так устроена жизнь. Не та, что на картинках. Настоящая.

— И долго мне падать и вставать?

— Пока не научишься ходить так, чтобы падать реже. А потом — пока не научишься бежать. А потом — пока не поймёшь, что падения — это тоже часть пути. Самая важная.

Он начинает таять. Контур его становятся прозрачными, как утренний туман.

— Я вернусь, — говорит он. — Когда понадобится. А пока — иди. Работай. Ошибайся. Вставай. Живи.

Он исчезает. В кабинете снова пахнет дешёвым кофе и пылью. Но что-то изменилось. Она смотрит на письмо с отказом. Берёт его в руки. Читает ещё раз. И впервые не чувствует желания смять и выбросить.

Она чувствует что-то другое.

Азарт.

— —

Воспоминание растаяло. Ника стояла на берегу, смотрела на волны, и чувствовала, как прошлое отпускает. Не полностью — никогда полностью, — но хотя бы настолько, чтобы сделать следующий вдох.

Пройдут годы. Она всегда будет помнить того, кто пришёл тогда. Кто не дал ей утонуть. Кто сказал: «То, что ты чувствуешь — это цена за знание». И она поверила. И пошла дальше. И вставала каждый раз, когда падала. И научилась бежать. И построила эту жизнь — из пепла, из бессонных ночей, из выученных уроков.

Благодарна ли она?

Да. Без него её бы не было.

Но иногда, по ночам, когда город за окном зажигал миллионы огней, а она оставалась одна в своей стеклянной капсуле, она думала о другом.

Она знала: он ушёл. Не тогда, в офисе, а позже, когда она перестала нуждаться в его уроках. Или когда он решил, что перестала. Он оставил её с идеально функционирующим механизмом внутри. Но вместе с ним он оставил и вопрос, на который у неё не было ответа.

А что дальше?

Когда стены построены, когда лестница ведёт на самый верх, когда ты стоишь на вершине и смотришь вниз — что дальше? Куда идти, если все цели достигнуты, все страхи побеждены, все уроки выучены?

Она не знала.

Она развернулась и пошла к машине. Рашид уже ждал, держа дверь открытой. Она скользнула на заднее сиденье, и Mercedes бесшумно тронулся с места.

Город за окном снова стал миражом. Но теперь в этом мираже было что-то новое. Что-то, что она не могла объяснить, но чувствовала каждой клеткой.

Он вернулся.

Не Люмин — другой. Тот, кто смотрел на неё из тени в коридоре отеля. Тот, чей силуэт мелькнул в зеркальной двери лифта. Он был здесь. Или ей только показалось?

Она не знала. Но знала одно: что-то начинается. Что-то, что изменит всё.

И впервые за долгое время она не боялась.

Вы правы. Я потерял порядок. Начинаем с главы 5 и идём последовательно.

Глава 5

Встреча была назначена в ресторане «Al Muntaha» — «Высочайший». Название говорило само за себя. Ресторан висел на высоте пары сотен метров над морем, словно стеклянная капля, приставшая к небоскрёбу «Бурдж Аль Араб».

Ника ненавидела высоту. Не физически — вид из её пентхауса был выше. Она ненавидела психологическую уязвимость, которую создавала эта прозрачность пола и стен. Ты словно сидел на ладони у Бога, и любой порыв ветра мог сдуть тебя в бездну. Но для переговоров с инвесторами это место подходило идеально: оно подавляло волю и заставляло чувствовать себя песчинкой перед величием капитала.

Она приехала на десять минут раньше. Официант проводил её к столику у окна. Заказала воду с лимоном — ничего крепче.

Дэвид — он настаивал, чтобы его называли именно так, без фамилии, — опоздал на семь минут. Это был классический британский финансист: идеально скроенный костюм, который выглядел так, будто в нём спали, очки в тонкой оправе и взгляд человека, который видит мир как таблицу Excel.

— Мисс Каменская, — он кивнул, садясь напротив. Рукопожатие было сухим и кратким. — Рад наконец встретиться лично. Ваша репутация опережает вас.

— Мистер... Дэвид, — Ника позволила себе лёгкую улыбку. — Репутация — это тоже актив. Я рада, что мой актив котируется высоко.

Он не улыбнулся в ответ. Раскрыл планшет.

— Перейдём к делу. У меня есть сорок восемь часов. Мне нужен объект с потенциалом роста не менее восемнадцати процентов годовых на горизонте пяти лет. Ликвидность должна быть абсолютной. Я не покупаю дом, чтобы в нём жить. Я покупаю строчку в портфеле.

Ника кивнула. Это был её любимый тип клиента. С ними было просто. Никаких эмоций, никаких историй о бегстве от мужа или поиске смысла жизни. Только цифры.

Следующие сорок минут они говорили на языке процентов, возврате инвестиций, ставке капитализации, стратегиях выхода. Ника продемонстрировала безупречное владение материалом. Она переключала слайды на планшете: графики, диаграммы, сравнительный анализ районов.

Она видела, как меняется его лицо. Из скучающего, почти надменного, оно становилось заинтересованным.

— Проект «Затмение»? — он ткнул пальцем в рендер башни спиральной формы. — Девелопер «Orion Group»?

— Именно. Фаза два. Сдача через двадцать месяцев. Вид на канал и Бурдж-Халифу. Планировки с «floating gardens» на балконах. Это будет новый стандарт luxury living.

— Риски?

— Минимальны. Девелопер страхует задержки строительства. Юридическая чистота объекта подтверждена тремя независимыми аудитами.

Дэвид откинулся на спинку кресла и впервые посмотрел на неё не как на функцию, а как на человека.

— Вы не похожи на обычного риелтора.

— Я не риелтор, Дэвид. Я архитектор чужих капиталовложений. Я строю не стены, а уверенность.

Он усмехнулся уголком губ. Это была высшая похвала в его мире.

— Хорошо. Подготовьте пакет документов по «Затмению». Мой офис свяжется с вашим для проведения Due Diligence.

— Сделаю.

Встреча закончилась так же быстро и сухо, как и началась. Они обменялись визитками — он даже не взглянул на её, — он встал и ушёл, погружённый в экран своего телефона.

Ника осталась одна за столиком. Она смотрела ему вслед и чувствовала странную пустоту. Это была идеальная сделка. Она сделала всё правильно. Она продала ему не мечту, а уверенность. Цинично, эффективно, безупречно.

Так почему же ей казалось, что она только что продала частичку своей души?

Она посмотрела вниз через стеклянный пол. Где-то далеко внизу синела вода залива. Маленькие катера казались игрушечными.

В отражении стекла она снова увидела это. Не тень — нечто другое. Пятно абсолютного мрака, похожее на разлитые чернила на белой скатерти реальности. Оно пульсировало в такт её собственному пульсу.

Ника резко обернулась.

Зал был полон людей. Смеялись женщины в вечерних платьях, официанты разносили шампанское. Всё было на месте. Никакой тьмы.

Она снова посмотрела в окно, на своё отражение. Тень исчезла.

«Усталость», — сказала она себе, закрывая планшет. — «Просто чертова усталость».

Она расплатилась за воду и вышла из ресторана. Лифт-капсула понесла её вниз с головокружительной скоростью.

— —

Между встречами — звонки. Письма. К вечеру, когда солнце уже ушло за горизонт, Ника села в машину. Последний клиент подписал договор, не задавая лишних вопросов. Успех. Ещё одна галочка в отчёте.

«Молодец», — сказал бы когда-то Люмин. Ровно, без интонации. Как система, подтверждающая выполненную задачу.

Она нажала кнопку запуска двигателя. Мягкий гул заполнил салон. Машина была одной из тех немногих вещей, которые она позволяла себе — тихая роскошь, не кричащая, но ощущаемая каждой деталью.

Она выехала на шоссе, вливаясь в поток таких же дорогих, бесшумных машин. Вечерний Дубай зажигал огни.

Она ехала на автомате. Тело вело машину, пока мысли текли где-то в стороне, отдельно, как параллельная река. Она думала о сегодняшних клиентах. О том, как сама когда-то сидела в дешёвом офисе и сжимала виски, глядя на письмо с отказом. О том, что Люмин сказал тогда.

«Ты боялась не потери денег. Ты боялась подтверждения собственной некомпетентности».

Он был прав. Как всегда.

Она сжала руль крепче. Взгляд скользнул по зеркалу заднего вида — там, в отражении, горели огни города. Потом перевела на дорогу. Пустая полоса впереди. Ритмичный стук колёс на стыках асфальта.

И вдруг — между одним ударом сердца и другим, в той крошечной доле секунды, когда сознание теряет фокус, — мир дрогнул.

Она не поняла, как это случилось. Не было толчка, не было перехода. Просто в один миг шоссе исчезло, и она оказалась стоящей посреди бескрайнего пространства, где небо и земля встречались в тишине.

Это была галерея. Но галерея, сотворённая не человеком — самой вечностью. Бесконечные залы тянулись под открытым небом, переходя один в другой, теряясь в перспективе. Стены были сложены из камня — от пепельно-серого до розового свинца, с вкраплениями чёрного обсидиана и прожилками тёмного аметиста. Но у них не было крыши. Над головой простирался бархатный купол ночного неба, усыпанный миллиардами холодных серебряных звёзд.

Вдоль стен, на постаментах из тёмного сланца, стояли скульптуры. Между залами вились тропинки из базальтового щебня, хрустевшего под ногами. Тут и там, словно стражи, возвышались природные камни — одни отполированные до зеркальной гладки, другие шершавые, пористые. Между ними струился мягкий, золотистый свет, источник которого невозможно было найти — он просто был, разлитый в самом воздухе, тёплый и живой.

И в сердце этого безмолвного великолепия, на низкой скамье из тёмного сланца, сидел он.

Саварон.

Его форма была плотной, ощутимой, но столь же далёкой от человеческой, как свет далёкой звезды от лампы на письменном столе. Он казался вытесанным из самой субстанции ночи. Высокий, с мощными плечами, одетый в длинный камзол из материала, который не отражал, а поглощал свет. Его лицо было завесой из полутонов. Черты угадывались — сильный контур челюсти, высокие скулы, — но они колебались, словно видимые сквозь струящийся тёплый воздух.

И только глаза. Глаза были ясными островами в этом море неопределённости. Тёмные, глубокие, как колодцы в безлунную пустынную ночь, но в самой их бездне тлели два спокойных, тёплых уголька.

Он не улыбнулся. Не сделал жеста. Он просто смотрел. И его взгляд был таким же физическим, как тёплый ветер, дующий с пустыни после заката.

— Ты пришла, — сказал он. Голос был именно тем, что она слышала прежде: низким, бархатным, вибрирующим не в ушах, а в самой сердцевине её существа.

— Я не звала тебя, — выдохнула она.

— Не словами, — согласился он. — Но ты перестала держать дверь закрытой. Этого достаточно.

Он медленно поднял руку и очертил дугу, включающую в себя всю галерею.

— Нравится? Я создавал это долго. Для тебя.

— Где я? — спросила она, делая неуверенный шаг.

— Между, — ответил он просто. — Между шумом и тишиной. Между необходимостью и покоем. Я назвал это галереей, но она больше похожа на сад. Камни — самые честные хранители. Они не лгут о времени. Не меняются от настроения. Они просто есть. В этом — умиротворение.

Ника подошла к одной из скульптур. Девочка-подросток, сидящая на корточках, прижавшись лбом к каменной стене. В руке — ржавый обломок. Лица не видно, но всё тело — комок отчаяния.

— Это я, — прошептала она.

— Это одна из тебя, — поправил Саварон, подходя ближе. — Та, что решила умереть. Но не умерла.

Она пошла дальше. Вдоль стен, на постаментах, стояли другие — застывшие мгновения её жизни. Вот она в спортзале после травмы, когда тренер сказал «забудь». Вот она на похоронах отца, одна. Вот она в чужом городе, без денег, без языка, без надежды. Вот она сжимает в руке первую большую комиссионную — и в глазах не радость, а холодное торжество.

— Зачем ты показываешь мне это? — спросила она, останавливаясь перед скульптурой себя сегодняшней.

— Чтобы ты увидела, — ответил он. — Люмин учил тебя не смотреть назад. Только вперёд, только на цель. Но цель — это всегда движение от чего-то. От боли, от страха, от пустоты. Ты бежала всю жизнь. А здесь можно просто остановиться и увидеть, от чего именно ты бежишь.

— Я бежала, чтобы выжить, — в её голосе послышалась старая, заученная жёсткость.

— Ты выжила, — спокойно согласился он. — И построила крепость. Но внутри крепости — пустота. Потому что ты выселила оттуда всё, что могло болеть. А вместе с болью ушло и всё остальное.

Она хотела возразить, но слова застряли в горле.

— Зачем ты пришёл? — спросила она тихо. — Люмин ушёл. Я наконец научилась жить одна. Зачем ты здесь?

Саварон помолчал.

— Природа пустоты не терпит. Когда отступает один принцип — порядок, свет, цель — освободившееся пространство заполняет другой. Люмин оставил после себя вакуум. Вакуум дисциплины, контроля, направления. В эту пустоту хлынуло всё остальное. Тоска, которую ты запрещала себе чувствовать. Одиночество, которое носила как доспехи. Вопросы, на которые нет ответов в его системе координат.

Он повернулся к ней, и тёплые угольки его глаз мягко светились в полумраке.

— Я пришёл не вместо него. Я пришёл вслед за ним. Как тень приходит за светом. Не как противник. Как компенсация. Баланс. Он дал тебе знание, как не сломаться. Я могу предложить тебе знание, как жить с тем, что осталось после всех сражений.

— Какой смысл может быть в боли? — горько спросила она.

— Тот же, что в камне, — он указал на скульптуры. — Ты смотришь на них и видишь только застывшее страдание. А я вижу форму. Каждое мгновение твоей боли высекло из тебя то, что ты есть сейчас.

Они вышли на круглую площадку. В её центре бил фонтан. Но не из воды — из тяжёлой, густой, медленно движущейся субстанции, похожей на расплавленный янтарь. Он изливал не струи, а сияющие капли, которые падали в чашу из чёрного мрамора с тихим, чистым звоном.

— Присядь, — предложил Саварон, указав на гладкий край чаши. Она опустилась. Камень был прохладным, но в нём чувствовалась внутренняя теплота.

— Что мне делать? — спросила она, глядя, как золотистые капли разбиваются о тёмную поверхность.

— Ничего. Абсолютно ничего. Просто сидеть. Смотреть. Позволить усталости быть. Не сражаться с ней. Просто дать ей накрыть тебя.

— Этому нельзя научиться за один раз.

— Нет. Но можно начать. А продолжение — это уже не моё дело. Твоё.

Она закрыла глаза. И совершила невозможное — перестала пытаться управлять потоком чувств. Позволила усталости, тоске, опустошению подняться из той чёрной дыры, которую носила в себе годами, и разлиться по ней.

И произошло чудо. Они не разорвали её на части. Они просто были. Как тяжёлая тёплая мантия, в которой было странно уютно.

Она не знала, сколько времени провела так. Когда она открыла глаза, Саварон всё так же сидел рядом.

— Почему ты делаешь это? — спросила она. — Зачем тебе я?

В его глазах мелькнуло что-то — не усмешка, скорее тёплое понимание.

— Вопрос не в том, зачем ты мне, — сказал он. — Вопрос в том, зачем я тебе. Ответ ищешь не ты. Ответ уже есть. Ты просто пока не готова его услышать.

— И когда буду готова?

— Тогда, когда перестанешь спрашивать.

— —

Резкий, пронзительный звук клаксона ворвался в тишину, разрывая её в клочья.

Ника дёрнула руль вправо, инстинктивно. Тяжёлый внедорожник вильнул, уходя с полосы. Встречная машина пронеслась в сантиметре, и она выдохнула — только сейчас поняв, что не дышала.

Сердце колотилось где-то в горле. Она съехала на обочину, включила аварийку и просто сидела, глядя прямо перед собой.

В лобовое стекло мерцали огни вечернего города. Мир вернулся. Звуки, запахи, реальность.

Но внутри, под рёбрами, всё ещё было то место. Та галерея-сад. Те скульптуры. Фонтан из света. И он — с тёплыми, тёмными глазами.

Она закрыла глаза и откинулась на сиденье. Дыхание постепенно выравнивалось.

Она чуть не разбилась. Но странное дело — страха не было. Только тихое, глубокое знание, осевшее где-то в самой сердцевине: он прав. Всё, что он сказал — правда.

Она не знала, что делать с этой правдой. Но одно она знала точно: обратного пути нет. Дверь, которую она всю жизнь держала закрытой, теперь открыта.

Она посмотрела на телефон. Сообщение от Лукаса: «Завтра суббота. Жду на закате. Тот старик с кораллами будет до вечера. Успеем до темноты».

Простые слова. Тёплая, человеческая забота. Мир, в который она могла бы войти, если бы умела.

Но она не умела. Пока не умела.

Ника убрала телефон, выключила аварийку и медленно влилась в поток. Домой она ехала осторожно, внимательно, не позволяя мыслям утекать в ту галерею, которая ждала где-то там, за тонкой гранью реальности.

Но она знала: она вернётся туда. Не сегодня, не завтра. Но вернётся. Потому что дверь открыта. И потому что за этой дверью — не тьма, как она боялась.

А свет.

Глава 7

На столе вибрировал телефон. Лукас: «Выезжаю. Всё хорошо?» Ника посмотрела на сообщение как на послание с другой планеты — оттуда, где люди беспокоятся о таких простых вещах, как «хорошо ли тебе», не подозревая, что «хорошо» для неё давно потеряло смысл.

Она медленно двинулась к гардеробной. Пальцы скользнули по ряду платьев — арсеналу масок для каждой роли. Сегодня она выбрала не самое эффектное, а самое простое — платье цвета тёмного сланца, бесформенное, стремящееся растворить её контуры в полумраке. Платье, в котором можно было стать незаметной. Даже для себя.

Одеваясь, она чувствовала, как ткань касается кожи, которая помнила всё: ледящую пустоту после ухода Люмина, тёплое, бархатное обещание в галерее Саварона, холод кафельной плитки в заброшенной больнице. Каждое прикосновение оставляло след.

Она не стала краситься. В зеркале лифта на неё смотрело бледное лицо с глазами, в глубине которых плавала всё та же старая, космическая тоска. Женщина, которая всё умеет. И которая ничего не чувствует, кроме усталости от этой умелости.

Ника взяла крошечный клатч, вышла, заперла дверь. Гулкий коридор, бесшумный лифт. С каждым этажом вниз напряжение внутри нарастало, как перед разрывом плотины.

Она вышла под тёплое, звёздное небо. Лукас ждал, прислонившись к машине. Увидев её, его лицо озарилось улыбкой — широкой, искренней, полной надежды и простого счастья от её присутствия.

— Ника! — он сделал шаг навстречу, и в его движениях была такая лёгкость, от которой у неё сжалось сердце.

Она заставила уголки губ дрогнуть. Он обнял её, поцеловал в висок — быстро, бережно, как будто боялся спугнуть. От него пахло свежевystиранной хлопковой рубашкой, кожей и чем-то неуловимо домашним.

— Ты не представляешь, как я ждал, — сказал он, открывая перед ней дверь.

— Я представляю, — тихо ответила она, садясь в салон.

Дверь захлопнулась, отсекая её от высотного мира теней и воспоминаний. Машина тронулась, увозя в царство земных радостей: заботливо выбранного ресторана, лёгкой беседы, попытки быть «просто женщиной на свидании». Лукас рассказывал о находке — старинной двери для своего фонтана, которую он выслеживал три недели.

Ника смотрела в тёмное стекло. В нём мелькали огни города-миража, её собственное отражение-призрак. А за этим отражением, в измерении, доступном только ей, ждала галерея из холодного камня и тихого света. И тот, кто её построил.

Кем она станет теперь, когда свет ушёл, не оставив даже тени, а другая тьма предлагает вечный покой? Сможет ли она когда-нибудь быть просто пассажиркой в машине, едущей на ужин, а не мостом, дрожащим над бездной?

Ответа не было. Была только дорога, тёплая ладонь Лукаса, сжимающая её холодные пальцы, и та самая знакомая пустота внутри, которая, присмотревшись, оказалась не совсем пустой. В ней теперь угадывалось дыхание — ровное, глубокое, бесконечно терпеливое. То, что ждёт своего часа.

— —

Кинотеатр, куда они приехали, был новым, премиальным, пахнувшим кожей кресел и стерильным воздухом. Лукас купил билеты на какой-то скандинавский хоррор — медленное, тоскливое кино о призраках в заброшенном маяке.

Ника шла рядом, улыбаясь, чувствуя, как маска приклеена к лицу намертво. Зеркальные стены лифта, поднимавшего их в зал, множили её отражения.

Зал был небольшим, камерным. Когда погас свет и на экране возникли мрачные, залитые холодным северным сиянием пейзажи, Ника почувствовала не облегчение, а новое напряжение. Шёпоты призраков в саундтреке отдавались в её костях знакомым, леденящим эхом.

Она сидела неподвижно, глядя на экран, но постепенно грань между тем, что происходило на нём, и тем, что жило внутри, начала стираться.

Свет на экране начал мерцать, расплываться, терять чёткость. Ника моргнула, пытаясь вернуть реальность, но вместо этого провалилась глубже.

Она закрыла глаза. Всего на секунду.

Она не заметила момента, когда кресло под ней перестало быть креслом. Оно стало мягким, податливым, влажным. Мох. Она сидела на мху, который излучал собственное, приглушённое изумрудное сияние. Вокруг, вместо кресельных рядов, высились деревья. Огромные, древние, их стволы цвета тёмного шоколада и чёрного бархата уходили ввысь, теряясь в густом, лилово-синем пологе, заменявшем здесь небо. Вместо листьев с ветвей свисали длинные, тонкие нити серебристого света, мерцающие, как струны невидимой арфы.

Воздух был тёплым, влажным, пахнувшим грибами, влажной землёй и чем-то сладковатым.

— Ты снова здесь, — раздался голос, знакомый до последней вибрации.

Саварон стоял, прислонившись к стволу дерева, покрытому бархатным мхом. Его тёмный камзол сливался с корой, делая его частью этого леса. Тёплые угольки его глаз светились мягко, без удивления.

— Я была в кино, — сказала Ника. — С Лукасом. Смотрели фильм о призраках.

— О призраках? — в его тоне мелькнула тень усмешки. — Интересный выбор для первого свидания.

Она не ответила. Осмотрелась. Лес был другим, нежели каменный сад. Там была вечность, застывшая в камне. Здесь всё дышало, текло, менялось.

— Это продолжение? — спросила она. — Того сада?

— Продолжение, — кивнул Саварон. — Камень — это покой. Лес — это жизнь. Даже в самом сердце тьмы есть рост, дыхание, музыка.

Они пошли по мягкому, светящемуся мху. Вокруг сновали тени — маленькие, пушистые существа с блестящими глазами. Одно из них — песчаная лиса с глазами-угольками — мелькнула между деревьями и скрылась.

Они вышли на берег подземного озера. Вода была абсолютно чёрной, неподвижной, как полированный обсидиан. Но в её глубине горели тысячи крошечных, холодных огоньков, как перевёрнутое звёздное небо.

— Глубины, — сказал Саварон. — Мои владения простираются и сюда. И в них есть своя красота. Свои звёзды.

Он махнул рукой, и на поверхности воды вспыхнуло отражение. Не её лица. А композиция из образов: силуэт Люмина на ледяном пике, силуэт её самой с Лукасом на фоне городских огней, и их двое здесь, в лесу. Все три картины существовали одновременно, переливаясь одна в другую.

— Твоя целостность не в отказе от одной части ради другой, — произнёс Саварон. — Она в умении видеть всю картину.

Ника смотрела на это водное зеркало, и в груди что-то щёлкнуло. Не прозрение. Не решение. Скорее — усталость от борьбы.

— Мне страшно, — призналась она.

— Знаю, — он положил руку ей на плечо. — Но ты не одна в этом страхе. Я здесь. Даже если ты выберешь солнечного мальчика и попытаешься забыть обо мне. Я буду здесь. В тени твоего счастья. В глубине твоего сна.

— —

А потом она почувствовала прикосновение. Другое. Тёплое. Влажное. Оно не принадлежало этому лесу.

— Ника?.. Ника, ты в порядке?

Она открыла глаза. Лес расплылся, смешался с темнотой зала. Светящиеся нити стали рябью на экране, мох — мягким ворсом кресла, а тёплая рука на её плече — рукой Лукаса.

— Ты застыла, — шептал он, склонившись к ней. В его глазах была тревога. — Я думал, тебе плохо. Ты так тихо дышала. Я позвал тебя три раза.

Она перевела взгляд на экран. Фильм всё ещё шёл.

— Всё хорошо, — автоматически ответила она, но голос прозвучал хрипло, издали. — Просто... задумалась.

Он не поверил. Это читалось в его глазах. Но он не стал настаивать. Только сжал её руку крепче и отвернулся к экрану.

Ника смотрела на его профиль, освещённый мерцающим светом. Простой. Чёткий. Настоящий. И рядом с ним, где-то на самой границе восприятия, всё ещё мерцал тот лес, те нити, те глаза. Она была здесь и там одновременно.

— —

Фильм закончился. Зажегся свет. Люди зашевелились, потянулись к выходу. Лукас помог ей подняться, и они вышли в пустой, гулкий коридор.

На улице было прохладно. Вечерний воздух пах бензином и влажным асфальтом. Лукас молчал, изредка бросая на неё быстрые, полные заботы взгляды. Она молчала тоже.

Остановились у его машины.

— Проводить тебя? — спросил он.

Она покачала головой.

— Я хочу пройтись. Одна.

Он сглотнул. Кивнул.

— Позвони, когда будешь дома. Хорошо?

— Хорошо.

Она коснулась его щеки — быстро, почти виновато, — и пошла прочь, не оглядываясь. Шла по мокрому тротуару, вдоль светящихся витрин, мимо редких прохожих.

И думала о том, что сказал Саварон. «Твоя целостность — в умении видеть всю картину».

Где-то в глубине, под слоями асфальта и бетона, под ритмичным гулом города, продолжал звучать хрустальный звон светящихся нитей. А в груди, там, где обычно жила пустота, теперь угадывалось дыхание. Ровное. Глубокое. Бесконечно терпеливое.

То, что ждёт.

Глава 8

Отчаянность Лукаса была тихой, упрямой и очень конкретной. Он не позвонил. Он прислал курьера с конвертом из плотной, шероховатой бумаги — той самой, которая пахнет старыми библиотеками и долгим хранением. Внутри лежала короткая записка, написанная его неровным, торопливым почерком: «Есть место, где чёрный песок. Хочу показать. Выезжаем в субботу на рассвете. Если не ответишь — значит, согласна».

Ника усмехнулась, прочитав. Ультиматум от человека, который никогда не ставил условий. Это было почти мило. Почему-то именно эта неуклюжая попытка настоять на своём заставила её набрать его номер и сказать: «Во сколько выезжаем?»

В голосе Лукаса, ответившем после секундной заминки, слышалось такое облегчение, что ей стало неловко.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.